

П.И. Мельников-Печерский

Гриша

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
П11

П11 **П.И. Мельников-Печерский**
Гриша / П.И. Мельников-Печерский – М.: Книга по Требованию, 2021. –
38 с.

ISBN 978-5-458-03491-3

Этнограф-беллетрист Павел Иванович Мельников-Печерский, более известный как Андрей Печерский, принадлежит к плеяде выдающихся русских литераторов середины XIX века. Оригинальная творческая индивидуальность, острая наблюдательность, знание народного быта и фольклора, прекрасное владение народной речью выдвинули его в ряд значительных писателей в то время, когда в литературе блистали такие корифеи критического реализма, как А. Толстой, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин, Ф. Достоевский, И. Тургенев, А. Островский, И. Гончаров. Благодаря совершенно особому таланту, своеобразному мировосприятию он сумел отобразить в своих произведениях то, что ускользнуло от взглядов этих и многих других художников слова.

Творчество писателя настолько ярко и самобытно, что и сегодня волнует, заставляет задуматься, открывает читателю неведомые грани русской жизни позапрошлого века, показывает своеобразие характеров наших соотечественников.

ISBN 978-5-458-03491-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© П.И. Мельников-Печерский, 2021

-
Давно то было... Лет пятьдесят и побольше того в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых.

В дальнем углу городка, на самом на всполье, стросенья Гусятниковых целый квартал занимали: тут были и кожевня, и салотопня, и свечной завод, и клееварня. До сих пор стоят развалины большого каменного их дома; от других строений следа не осталось — все вычистило в большой пожар, когда в два часа погорело полгорода.

И теперь есть в Колгуеве Гусятниковы, но люди захудалые, обнищальные! Из купцов давно в мещане переписались: старики только что не с сумой ходят, молодые — в солдатство по найму ушли. Сгиб, пропал богатый дом, а лет пятьдесят тому назад был он славен в Казани и в Астрахани, в Москве и в Сибири... Какие были богачи!.. Сколько добра было в доме, какую торговлю вели!.. Все прахом да тленом пошло!

Держался дом Гусятниковых матерью теперешних обнищальных стариков. Покамест жива была Евпраксия Михайловна, жили в богатстве и почете; не стало ее — все на иную статью пошло, — унесла она с собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковых. Как схоронили ее, так и зачали сыновья путаться; путались они, путались, да лет через десяток и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихие, обходительные и не дураки... И никакого после материнной смерти божьего наслания не было — ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разорения. И в казенные подряды не вступали и откупов не держали... Такова уж судьба.

Правда, перед смертью Евпраксии Михайловны было горе у них. Но, кажись бы, от того горя, нельзя было в кон разориться. Судьба, одно слово — судьба!

Отец Гусятниковых, муж Евпраксии Михайловны, торговал бойко, но дела не совсем в порядке держал. Когда помер, а померто он в одночасье, на чужой стороне — в Саратове никак, — чуть было не пришлось дела закрывать. Евпраксия Михайловна молодой вдовой осталась, на руках семья: пять сыновей, две дочери — малмала меньше. Седьмым ребенком на сносях ходила, как пали к ней вести, что сожитель побывшился. — "Порешились Гусятниковы", — заговорили по купечеству... Родила Евпраксия Михайловна, справилась, сорочины по муже справила и сама за дело взялась. — "Куда молодой бабенке с такими делами возиться, — заговорили купцы, — от таких дел и у старого купца затрещит голова! Куда ей?"

В немощах человеческих господь силу являет: молодая вдова в



три-четыре года дела на лучшую ногу поставила, кожевенный завод, при муже чуть не заброшенный, так подняла, что сделался он первым по губернии, и на Макарьевской ярмарке гусятниковская юфта стала всем знаема. Сыновей Евпраксия Михайловна вырастила, выучила, переженила, дочерей за хороших людей замуж повыдала: одну в Казань, другую в Муром, третью чуть ли не в Арзамас. Сыновья не делились, все при матери жили даже и тогда, как своих детей переженили. Одно слово — так хорошо да ладно устроила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому так удастся. И наградила ее господь многолетием: видела Евпраксия Михайловна внуков женатых, нянчила, холила правнуков, ото всех людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар — ночное моление, другой дар — пост-воздержанье, третий дар — любовь-добродетель.

Страннолюбие поревновала Евпраксия Михайловна. Кто ни приди к ее дому, кто ни помяни у ворот имя Христово — всякому хлеб-соль и теплый угол. С краю обширной усадьбы, недалеко от маленькой речки, на самом на всполье, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странных, ради трудников Христовых, ради переходжих богомольцев. Много тут странников привитало, много бедного народа упокоено было, много к господу теплых молитв пролито было за честную вдовицу Евпраксию.

Женского пола странние люди у Евпраксии Михайловны в самом доме привитали; сама она с дочками, покамест замуж их не повыдала, да со снохами за странницами, ради бога, ходила... Мужской пол по старому уставу должен жить особо, послужить старцу должен мужчина, — того ради ставила Евпраксия Михайловна на усадьбе особую келью, а потом искала человека, смотрел бы он за келейкой денно-нощно, был бы при ней неотходно, приносил бы старцам и переходжим богомольцам горячую пищу; служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради бога. В страхе господнем вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дело позывались, но Евпраксия Михайловна им на то говорила:

— Полноте-ка вам, детки! Разве вам того неизвестно, что каждому человеку от бога своя дорога, каждому человеку от господа забота? Вам дана забота — вести торг честный, на келейное дело вы, мои ребятки, не сгодились. Сем-ка присмотрим сироту такого, был

бы смиренный да богобоязный, бога ради работающий, бога ради терпеливый. По силе помощь ему подадим: барский, так выкупим; вольный, рекрутску квитанцию выправим — станет он у нас старцев покоить да бога молить об отпущеньи наших согрешений... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни в чем не перечили, а по такому делу и подавно. Решили искать сироту. По скорости отыскивали такого.

После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть — круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смиренный, тихий, послушный: — нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им псалтирь да четьи-минею. И возлюбил Гриша божественные книги, и уж так хорошо пел он духовные песни, что всякий человек, что в суете век свой проводит, заслушается, бывало, его поневоле. А был он из раскольников, из «записных» — из самых, значит, коренных — деды, прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали. Это было с руки Евпраксии Михайловне: и сама она с детками "по древлему благочестию" пребывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству — по Рогожскому, значит, кладбищу.

И взяла к себе в дом Евпраксия Михайловна бездомного сироту Гришу. Обмыли его, одели, рекрутскую квитанцию купили и, по доброй его воле, по его благому хотенью, приставили к богадельной келье. Там, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. В той каморке, об одном малом оконце, стал жить и подвизаться молодой келейник, а в свободное время, когда в келейке ни скитских старцев ни переходжих богомольцев не бывало, читал книги о житии пустынном, о подвижниках Христовых, что в Палестине, и во Египте, и в Фиваидских пустынях трудным подвигом, ради господя, подвизались.

Живет Гриша у Евпраксии Михайловны год, живет другой, живет третий, старцам и странним людям служит, божественные книги читает.

Отверстою душою, умом нераздвоенным внимает он древним

сказаньям о подвигах отцов преподобных. С жаром, с любовью читает "Повесть об индейском царевиче Асафе". Вот думает, бывало, Гришутка: "Вот — и царевич был, и царством владал, жил в белокаменных палатах, было у него золотой казны несметно, всяких сокровищ земных неисчетно... Променял же царские брашна на гнилую колоду, сладкие меда на болотну водицу..." И западала в юную голову Гриши крепкая дума — как бы ему в дебрях пустынных постом и молитвой спасти свою душу... Разрасталась, расширялась у него та дума, и, глядя на синеву дремучего леса, что за речкой виднелся на краю небосклона, только о том и мыслил Гриша, как бы в том лесу келейку поставить, как бы там в безмятежной пустыне молиться, как бы диким овощем питаться, честным житием век свой подвизаться, столп ради подвига себе поставить и стоять на том столпе тридесять лет несходно, не ложась и колен не преклоняя, от персей рук не откладая, очей с неба не спуская...

Стоит, бывало, стоит юный келейник, вперя вдаль свои очи, стоит, ничего не слышит, по душе у него сладость разольется, и, сам не знает отчего он заплачет; заструятся по впалым бледным ланитам горячие слезы, и запоет он тихонько стих в похвалу пустыне:

О, прекрасная мати-пустыня!
Сам господь тебя, пустыню, похваляет:
Отцы по пустыне скитались,
И ангелы им помогали...
Прекрасная ты пустыня,
Прекрасная ты раиня,
Любимая моя мати!
Прими ты меня, мать-пустыня,
От юности моей прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить божье дело!

И долго-долго, бывало, тихим тоскливым напевом поет Гриша свою песню, глядя на синеву лесную. Спустится на землю вечерняя тень, черной полосой вытянется лес по закраю неба, а он все поет да поет любимую песню... Яркие звезды одна за другой загораются в небе, полный месяц выкатится из-за леса, серебристым лучом обольет он широкие дуга и сонную речку, белоснежные песчаные берега и темные, нависшие в воду ракиты, а Гриша, ни голода, ни ночного холода не чуя, стоит босой на покрытой росой луговине и поет-распевает про прекрасную мать-пустыню...

Подвизался Гриша житием строгим; в великие только праздники вкушал горячую пищу, oprичь хлеба да воды ничего в рот он не брал.

Строгий был молчальник, праздного слова не молвил, только, бывало, его и слышно, когда распевает свои духовные псалмы... И что ни делает, где ни ходит, все молитву господню он шепчет.

На усадьбе Евпраксии Михайловны много жило народу: тут стояли заводы кожевенный, салотопный, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали, — одних работников что тут жило? А кроме того, по торговой части приказчики да артельщики и другие наемные люди — и все-то жили в особых избах, каждый со своим семейством. Так устроила своих домочадцев добрая, заботливая обо всем Евпраксия Михайловна. По задворью, по огороду, по всему широкому усаду день-деньской народ так и снует, так и кишит, так и носится роем. С раннего утра до поздней ночи стоном стоят голоса... На таком-то великом многолюдстве, на такой-то суете шумной слова ни с кем не молвил Гриша-келейник... Ходит, опустя очи долу, ничего не видя, ничего не слыша, и беззлобно, безответно переносит злые насмешки рабочих, щипки да рывки мальчишек. Но глумленья, укORIZн и всякой досады от них Гриша-келейник не боялся, все озлобленья суетных людей принимал с весельем, почитая их за благодаянья... Зато пуще огня, пуще полымя боялся он женского пола. Наслушался от переходжих старцев и сам в книгах начитался, что женская лепота горше всякого другого соблазна, что самых строгих подвижников враг человеческого рода, диавол, всегда иский кого полотити, уловляет в геенские сети женской греховной красотою.

А молодые девчата — десятков до трех их жило на усаде — изловят, бывало, Гришу на огороде либо на всполье, хватя его за руки, да и ну — вкруг себя вертеть, тормошить, обнимать его белыми, как молоко, полными упругими руками... А сами звонкими, смеющимися голосами страстно, любовно ему напевают:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик,
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракитовым кусточком побалуем...
Монашек, монашек,
Купи нам калачик.

Молитву за молитвой творит бедный Гришутка, крепко зашурив глаза, чтоб не встретиться взором с светлыми, пуще огня палящими девичьими очами... Дня по два, по три после того искушенья бывал он сам не в себе... И накладывал он пост втрое строже, насыпал в каморке кремней и битых стекол, ходил по ним босыми ногами, клал тысячи по три поклонов, налагал на плечи железны вериги и при-

лежно читал книгу Аввы Дорофея. Хочется заглушить в душевном тайнике память о жгучем, томительном, захватывающем дыханье чувстве, что сладко-огненной струей пробежало по всем его суставам и, ровно пламенной иглой, насквозь кололо его бедное сердце, когда белолицые, полногрудые озорницы, изловив его, сжимали в своих жарких объятьях, обдавали постное лицо горячим, сладострастным дыханьем... Стоит Гриша на кремнях, на битых стеклах, перед книгой Аввы Дорофея, громким голосом истово и мерно ее читает, а все слышится ему звонкий хохот Дуняши, самой озорной из всех усадских девок... Завсегда, бывало, эта Дуняша первая подустит на келейника девок, первая подманит подруг на всполье, первая затащит Гришу в круг девичий, первая заведет игры, первая успеет обвить шею постника жаркими руками и с громким, далеко разносящимся в вечерней тиши смехом успеет прижать отуманенную голову его ко груди своей лебединой...

Стоит Гриша, борзо, истово лестовку перебирая, бесцетно кладет земные поклоны, а потом читает "Скитское покаянье": "Согрешил есмь душею, и умом, и телом, сном и леностью, во омрачениях бесовских, в мыслех нечистых". Так шепчет Гриша, глядя в "Скитское покаянье", но слова звучат без участия ума — помыслы мятежного, полного прелестей мира восстают перед ним в обольстительных образах, и таинственный голос несется из глубины замирающего сердца... Сладко, соблазнительно он говорит ему: "Помнишь Дуню молодую?.. Помнишь, как глаза у ней горели?.. Помнишь, как грудь колыхалась?.."

Вздрогнет всем телом Гришутка, вырвется отчаянный вопль из души его. Сам себя пугается, торопливо ограждает себя крестным знаменьем, и, судорожно схватив с наля "Скитское покаянье", громко барабанит, не спуская глаз с книги:

"Грядет мира помышление греховно, борют мя страсти и помыслы мятежны. Помилуй, господи, раба своего, очисти мя окаянного, скверного, безумного, неистового, злопыгливового, неключимого, унылого, вредоумного, развращенного..."

А голос свое:

"Вспомни, как горели очи ясные, как рделись багрецом щеки маков цвет... Вспомни, как, дрожа всем телом, изнывая в сердечной истоме, она обняла тебя... как прильнула к тебе алыми устами, как прижала тебя к белоснежной груди..."

— Изми мя от враг моих, — громко читает по книге келейник, — и от восстающих на мя; изми мя от руку диаволу; отжени от мене помрачение помыслов, дух нечист и лукавнующий; избави мя от

сети ловчи, не вниди в суд с рабом своим...

А голос сердечный:

"Брось молитву!.. Вон из кельи!.. К ней поди!.. Посмотри, как в светелке она спит одна у окна... Высоко поднимается грудь, и раскрыты уста, и дыханье ее горячо..."

— О, господи!.. падаю... — шепчет келейник, — спаси...

А голос:

"Как бы сладко прильнуть к красоте молодой!"

Последние силы собрал Гришутка, прогнать бы только лукавого беса... И крепко ухватил он лестовку, хочет молитву читать на прогнание бесовских мечтаний... Но сухие, дрожащие уста нехотя вторят тайному, сердечному голосу: "Как бы сладко припасть к ее персям щекой огневой..."

А где она огневая?.. Всю в посте иссушил...

Вдруг стукнуло оконце... растворилось. В белых рукавах, в белом переднике, в бледно-розовом сарафане, с распущенными длинными темно-русыми волосами, в венке из свежих васильков, вся облитая сияньем месяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядит на постника белотелая, полногрудая красавица Дуня. Страстью горячеей, ничем несдержимой, страстью любви пышет она...

— Здравствуй, Гриша, голубчик!.. Здравствуй, дорогой мой, желанный!.. — ясным голоском крикнула и, заливаясь резвым хохотом, кошечкой прыснула к подругам на всполье. И в тиши ночной раздастся над речкой девичья песня:

Мы посеем, девки, лен, лен, лен.

Мы посеем молодой, молодой...

Стоит Гриша босой на кремнях, на стеклах, как вкопанный, — лестовка из рук выпала, "Скитское покаянье" на полу валяется, давят плечи тяжелые вериги. Тихо шепчет келейник:

— Ах, ты, Дуня, моя Дуня!..

А с поля несутся веселые звуки ночного хоровода:

Как во городе было во Казани,

Сдуниной-най-най — во Казани.

Молодой чернец постригался,

Сдуниной-най-най — постригался.

А свежий воздух майской ночи теплым, душистым потоком так и льется через отворенное Дуней оконце в душную келью стоящего на кремнях и стеклах постника. Тихо рыдает отшельник, по распаленному лицу его обильно струятся слезы, но они не так ему сладки, как те, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лес, в самозабвении, певал он песню в похвалу пустыне.

Идут день за день, год за годом — Гриша все живет у Евпраксии Михайловны. Темнеют бревенчатые стены и тесовая крыша богдельной кельи, — поднимаются, разрастаются вокруг нее кудрявые липки, рукой отрока-келейника посаженные, а он все живет у Евпраксии Михайловны. И сам стал не таков, каким пришел — и ростом выше, и на вид возмужал, и русая борода обросла бледное, исхудалое лицо его.

Много всякого народу перебивало на глазах Гриши: раскольники ближние и дальние, каждый трудник, каждый переходный богомолец, идут, бывало, к Евпраксии Михайловне о всяку пору, ровно под родную кровлю. Кто ни брякнет железным кольцом о дубовую калитку страннolюбивой вдовицы, кто ни возвестит о себе именем Христовым, всякому готов теплый угол, будь раскольник, будь единоверец, будь церковник — все равно, отказу никому не бывало. "Все люди

— Христовы человеки", — говорила Евпраксия Михайловна, когда скитские матушки иль читавшие негасимую «канонницы» зачнут, бывало, начать ее: сообщается-де со еретики, даешь всякому пристанище — и покрещеванцу, и никонианину, и бог весть каким иным сектам.

Много разного народа видал Гриша; но еще не случилось видеть таких подвижников, про каких писано в Патериках и Прологах. "Неужли, — думает он, бывало, — неужли всех человекoв греховная, мирская суета обуяла?.. Неужли все люди работают плоти? Что за трудники, что за подвижники?.. Я и млад человек и страстями борим, а правила постничества и молитвы тверже их сохраняю".

Поднимала в тайнике его души змеиную свою голову гордость треклятая. И немало старался он разогнать лукавые мысли, яко врагом внушенные, яко помысл гордыни, от нее же — читывал он и великие подвижники с высоты ангелоподобного жития падали... Тщетны труды, напрасны усилия — самообольщение и гордость смирением, гордость многотрудным своим подвигом, неслышно и незримо подтачивали душу его... "И в самом деле, — думывал он, — что ж за трудники, что за постники, что в богоданной моей келейке привитают? Днем на людях, только у них и слова, как Христову рабу довлеет жить на вольном свету: сладко не есть, пьяно не пить, телеса свои грешные не вынеживать, не спесивому быть, не горделивому, не копить сокровищ и тленных богатств земных, до сирых, убогих быть податливу, — а ночью, как люди поулягутся и уйду я в каморку — честные старцы по вечерней трапезе не на правило ночное становятся, а делом не волоча, к пуховику на боковую. Иной,